

Борис Корнев
«ОДНА НА ВСЕХ...»

Повесть

«Историческая иллюстрация»
Санкт-Петербург
2015

Корнев Б.Ф. «Одна на всех...»: Повесть.

© Б.Ф. Корнев, текст, 2015
© А.В. Спиридонов, макет и оформление, 2015
© «Историческая иллюстрация», 2015

«Одна на всех...»

Повесть

В центре приморского городка из репродуктора громко звучит музыка. Много раз отражённая стенами новых пятиэтажек, она создаёт эхо, и эта разноголосица, чуть запаздывая, доносится до окраин. Здесь, на берегу залива стоит старый деревянный дом; среди начинающих зеленеть молодых берёзок накрыт стол. Посередине – бутылки со «Столичной» и лимонадом. Рядом глубокая миска с салатом «Оливье» и блюдо со студнем. Тут и там маленькие тарелочки с тонко нарезанным салом, дольками чеснока, ломтиками бочковой селедки, сбрызнутыми маслом и густо посыпанными кружочками репчатого лука. За столом – семь человек.

Каждый год на 9 мая приодетые по-праздничному мужчины и женщины собираются вместе. Вот и сегодня они сидят, выпивают, закусывают, говорят незатейливые тосты. Празднуют тридцатилетие Победы, пожалуй, самую большую радость за всю их жизнь. Ну, может, ещё Гагарин... Ему тоже положен тост. А в доме проигрыватель крутит одну и ту же пластинку, и каждый из семи невольно повторяет про себя слова песни: «И значит, нам нужна одна победа, одна на всех – мы за ценой не постоим».

На лацканах пиджаков троих из сидящих блестят медали, есть даже один орден. Тот, у кого орден, старше других, пол-лица коричневого цвета в морщинах, будто родимое пятно, один глаз повреждён и почти не видит. Бывший танкист. Он дважды горел в своём танке, проваливался под лёд, подбил три «Тигра» и дошёл до Праги.

Второй ветеран – вернулся с войны ещё в сорок втором на костылях без ноги. Западнее Вязьмы самолёт с десантом был подбит и загорелся. Парашютисты успели выпрыгнуть, но ему довелось спускаться прямо на окоп с немцами. Ничего не оставалось – бросил вниз гранату...

Третий тоже успел повоевать. В последние дни войны – юнгой – тралил Финский залив. У этого вся грудь увешана значками и, конечно, есть медаль за победу над Германией.

Выпив водки и поев, мужчины поднимаются и медленно выходят из-за стола перекурить. Женщины убирают грязную посуду и накрывают к чаю: ставят самовар, приносят прямо из духовки румяные пирожки с яйцом и капустой. Все знают, что в трёх пирожках, как обычно, запрятано шоколадной конфете. Кому попадётся – тому счастье. Мужчины стоя принимают ещё по одной стопке... и вдруг трое начинают бить четвёртого. Словно жуткий ритуал: бьют привычно, всерьёз, кулаками, да всё по лицу норовят. Бьют, а у самих слёзы на глазах...

1.

В мае сорок первого Василию исполнилось двенадцать. Заканчивался учебный год. Прогуливая последние школьные уроки, он с одноклассником Петькой убегал на берег Плюссы. Оба вечно в ссадинах, лохматые, в драных штанах и в старых непонятного цвета фуфайках. Закинув удочки, они допоздна сидели в лодке, отмахиваясь от комаров и, как замороженные, не сводили глаз с самодельных поплавков, торчащих над зеркальной гладью воды. Потом через орешник лезли на крутой песчаный берег, чтобы оттуда смотреть вниз на свою деревню, на извилистую речку и тёмно-синий лес. Смотрели и мечтали: когда вырастут, вместе полетят на Северный полюс, а через много-много лет обязательно вернуться к этим словно игрушечным домикам с серыми крышами из выцветшей дранки. Петька, как обычно, издали станет выискивать сначала свой дом, потом Васькин, а после они будут долго спорить: за каким перелеском железная дорога, а за каким здание станции...

К ночи солнце нехотя сваливалось за кромку леса, небо на горизонте покрывалось свежей ржавчиной, а рядом в молодом ельнике, будто всполохи гаснущего костра, начинали мелькать яркие красные огни уходящего дня. Мальчишки возвращались домой.

Васькины родители погибли три года назад. Весной в разлив перебирались на другой берег реки, лодка перевернулась, и обоих унесло быстрой водой. Нашли их только через месяц. Петька отца вообще никогда не видел, а на мать обижался – привезла его, семилетнего, в деревню к бабке и оставила насовсем. Сама же уехала в Ленинград к новой семье. Васька-то хоть не один – у него сёстры. Катерина и Александра, совсем взрослые, ещё в конце тридцатых вышли замуж, поселились в Луге и там поступили в бухгалтерское училище. А Зина только пятью годами старше брата, но она оставалась в деревне и была Ваське вместо матери. Так и жили в старом родительском доме, сами управлялись и с хозяйством, и с огородом, собирали ягоды, грибы, всякие травы, сушили и сдавали в потребкооперацию.

В школе Васю считали смышлёным, но упёртым и непослушным. К двенадцати годам он вымахал под метр семьдесят и из-за этого казался старше своих лет. Все говорили, что он – копия Зинки. Глаза такие же большие и карие, но, в отличие от её тёплого бархатного взгляда, его круглые, почти чёрные глазки, словно угольки, всегда блестели озорными искорками. Петька совсем другой: голубоглазый и белобрысый, рос ребёнком тихим и покладистым, только ростом пока не вышел.

Вскоре началась война. На второй день в деревню из райцентра приехали военные. Тех, кто по возрасту подлежал мобилизации, построили возле клуба, и молодой командир с малиновыми петлицами и медалью на груди произнёс короткую речь. При этом он размахивал кулаком, как бы угрожая врагу, а потом, наверное, для убедительности вынул из кобуры свой огромный чёрный пистолет. Потом что-то говорил бородатый старик, деревенский кузнец, он ещё в пятнадцатом году с германцами дрался. Провожавшие молча толпились рядом, серьёзные и угрюмые. Когда

мужчины разместились на скамейках в кузове полуторки, женщины разом заревели. Деревенские мальчишки во время митинга стояли в одном ряду с мобилизованными, а после в клубах дорожной пыли бежали босиком за машиной, пока та не скрылась за поворотом.

В этот же день, обдумав как следует сложившуюся обстановку, Васька и Петька решили, что когда родина в опасности, отсиживаться дома нельзя. Взяли по куску хлеба, по луковице, насыпали в тряпицу немного соли, сунули свёртки за пазуху и айда на фронт. Через два дня в поезде милиционеры их отловили и вернули в деревню, благо железнодорожная станция была рядом.

Зина тогда долго ругала брата. Но уже спустя неделю мальчишки убежали вновь. Их снова поймали. И опять Зина ругала, плакала и уговаривала брата не глупить, остаться и помогать ей и стране здесь, работая в колхозе. Василий, виновато потупив голову, исподлобья смотрел на сестру, понимал, что расстраивает её, но в душе радовался. Ещё бы! В этот раз им удалось уехать гораздо дальше.

А через неделю фронт и сам подошёл. В деревню нагрянули немцы. Новая власть насаждала свой порядок: бургомистры, старосты, полицаи, приказы, расстрелы... Если что-то происходило в деревне недозволенное – кто-то из леса приходил и запасался продуктами или какие-то неизвестные что-то взрывали или поджигали, убивали германских солдат, – незамедлительно следовало жестокое наказание. Причём зверствовали, в основном, местные полицаи.

А мальчишки – опять за своё. Раз уж на фронт не попасть, так обязательно нужно поджечь хоть что-нибудь! Например, старый клуб с фашистским флагом на крыше или доску около колодца с объявлениями: за что расстрел, а за что только побьют. Ни то, ни другое у них не получилось. В первый раз вместо бензина нашли соляру, и она не разгоралась, все спички извели. Второй раз проспал Петька. И слава Богу! Потому что за такие дела, не разбираясь, сжигали всю деревню вместе с жителями.

Весной сорок второго в Германию на принудительные работы угнали Зину. Чтобы Вася один не пропал, его взяла

к себе Петькина бабушка. За прошедшие после этого полтора года ничего нового в деревне не произошло. Говорили меж собой про победу под Москвой и под Сталинградом, но для жителей посёлка так ничего и не поменялось. Только Петьку два раза ловили полицаи и били кнутом за то, что он без разрешения старосты шлёлся по лесу. Потом бабка его еле выходила. Васька-то смыслённый, не попадался. Многие из мужиков, кто остался в деревне, пошли служить в полицию. Им выдавали паёк, зарплату тридцать марок в месяц – почти триста рублей на советские деньги. А за «основательные сведения» о партизанах обещали ещё по целой сотне. Но партизан рядом не было, и сведений о них тоже.

«Добровольные помощники» новой власти заставляли жителей работать на станции, чистить пути, вырубать кустарник вдоль дороги, часто отбирали всякую живность и увозили в соседнюю деревню, где стояли немцы. Петькиной бабушке приходилось каждую неделю туда относить целую корзину с картошкой, морковкой и луком. Вообще-то из деревни выходили только с разрешения старосты. Была у неё такая бумага или нет?.. Но однажды бабушка ушла и не вернулась. Мальчишки её ждали-ждали, а после стали искать, даже спрашивали у старосты. Тот ничего не ответил, хотя, наверняка, знал, да только махнул рукой. Рискуя попасться, они бегали в ту деревню, где стояли немцы, прячась за каждым кустом, крались вдоль дороги в надежде что-нибудь увидеть или узнать о бабушке – ничего не удавалось. Тогда решили, что немцы её убили. Наверное, спросили документ, а раз нет его, значит, тут же и расстреляли.

После неудавшегося похода измученные мальчишки пробирались в опустевший Петькин дом. Сидели там и придумывали новые планы поиска и партизан, и какой-нибудь еды.

Осенью сорок третьего разнеслась радостная весть: фашистов сильно побии под Курском и теперь гонят отовсюду. Петька недоверчиво качал головой и приговаривал: «Слышь, Васька, я вот что думаю – просто так хорошего не

бывает! Рядом обязательно какая-нибудь пакость присосётся». Как в воду глядел! Полицаи снова занялись составлением списков жителей деревень. В райцентр приехали эстонцы, и всем стало ясно – опять будут увозить в Германию на работу. Многие, взяв всё, что можно унести, ушли в лес. Думали, хоть и зима на носу, но лучше уж в лесу у костра, чем на чужбине.

Неразлучная парочка, Васька и Петька, на хутор ходили не раз и знали, что там зимой никак не выжить, все сараи давно разрушились, доски сгнили, а дым от костров обязательно учуют – не немцы, так местные полицаи. Но и оставаться глупо. Потому, не дожидаясь, когда полицаи их загонят в амбар, мальчишки удрали за речку, подальше от деревни. А эсэсовцы решили, что всех деревенских забрали с собой партизаны. Раз так, то, как и полагается по их правилам, много домов пожгли.

В начале ноября ещё не слетела пожелтевшая листва, а выпавший снег своими шапками уже нагнул до земли молодые рябинки. Долго стоял мороз в пятнадцать градусов, даже Плюсса покрылась льдом. В безветрие дым над крышами уцелевших деревенских домов словно примёрзал к печным трубам и белыми струями вытягивался навстречу чёрному небу с яркими немигающими звёздами и огромной круглой луной. Она, словно прожектор, ровным светом освещала побелевший от снега лес, притихшую деревню и низко стелющуюся пелену над пепелищем.

Целую неделю Вася и Петя плутали по глубокому снегу. Голодные и продрогшие от холода, в рваных валенках, вышли они, наконец, к железной дороге, потом пробирались вдоль путей, пока не наткнулись на чужую деревню. Постучали в первый же дом и стали еду просить. На этом все их хождения и завершились. Полицейские схватили мальчишек и заперли в подвале местной школы.

На другой день их и всю оставшуюся местную молодёжь погнали на соседнюю станцию. Над массой людей, сгрудившихся в одном месте, тяжело шевелились клубы пара. В окружении охранников с собаками они стояли на морозе целых два часа, чего-то ждали. Вдруг послышалась команда

и, ничего не объявляя, всех запихнули в два старых товарных вагона, закрыли двери, навесили замки, и поезд тронулся. Громкий непрерывный лай овчарок постепенно затих, только на стыках сжавшихся от мороза рельсов гулко били колёса. Металлический звук больно отдавался в голове у ребят, отстукивая мгновения уходящего детства.

2.

Внутри вагона холод был такой же, как снаружи. Правда, за час-другой успели надышаться, и это хоть немного согрело. Мальчишки протиснулись в тёмный угол. Петька прикрыл собой Василия, а тот ржавой железкой, подобранной тут же на полу, принялся выковыривать торчавшую из доски пола шляпку плохо забитого гвоздя. Пять часов, меняя друг друга, ковыряли доску и в кровь расцарапали ладони. Здоровенный гвоздь обнажился сантиметра на три. Его бы подхватить чем-нибудь! Глядишь, доску-то и поднять можно будет, а с её помощью и другую. Останется лишь шмыгнуть под пол – и всё!

На остановках конвой проверял состав со всех сторон, простукивая стены деревянными кувалдами. Утром в вагон вошли двое немцев в длинных шинелях с автоматами, с ними тощий мужик в чёрном пальто с разноцветной нашивкой на рукаве. То ли русский, то ли нет, – непонятно. Оглядели всех. Видимо, кого-то искали. Не нашли. Ни воды, ни еды не дали, вышли, заперли двери, и поезд снова тронулся. За следующие три часа от сильной тряски гвоздь вернулся на своё прежнее место и теперь едва торчал из доски. Мальчишек мучила жажда и жутко хотелось есть.

За оконной решёткой мелькали деревья, электрические столбы, потом появились многоэтажные серые здания, заводские трубы, станции, белые таблички с иностранными буквами. В другую сторону на огромной скорости проносились эшелоны с пушками и танками, укрытыми брезентом. Небо постепенно темнело, надвигались сумерки уже третьего дня. Уехали далеко, наверное, за тысячу километров. Вдруг взрыв. Протяжными гудками загудел паровоз, вагон резко толкнуло, лязгнули буфера. В раздвинутые

двери вместе с морозным вечерним воздухом и едким дымом от горящего эшелона с силой ворвался громкий лай собак и такие же отрывистые немецкие команды. Все стали выпрыгивать. Ещё не поднявшись с земли, хватали ладонями снег вместе с разбрызганной взрывом чёрной землёй и глотали эту кашу, утоляя жажду. Охрана стояла у каждого вагона и гнала людской поток в сторону от железной дороги. Впереди состава виднелись чёрные воронки, торчавшие в разные стороны шпалы и исковерканные рельсы. Кто-то сказал, что это Польша.

Колонна растянулась почти на километр. Кого тут только не было! Остарбайтеры, как Петька с Васькой, военнопленные, эстонские охранники, немецкие раненые с поезда. Этих в стороне от основной колонны несли охранники и санитары в белых халатах. Решив, что немцы заняты сами собой, человек десять кинулись бежать... Их тут же уложили из пулемёта. Как будто кто-то невидимый и вездесущий сидел высоко на дереве, на крыше дома или где-то на облаке, смотрел за порядком и мгновенно исправлял неполадки в точном немецком механизме распределения людских потоков.

Подъехали крытые брезентом грузовики, немцы погрузили своих раненых и уехали. А толпу из гражданских и военнопленных гнали пешком ещё двое суток. Опять без пищи и без воды. Глотали только снег. Если кто-либо падал, его тут же приканчивали штыком. Пули не тратили, должно быть, экономили. Потом в ожидании поезда всех держали рядом со станцией в большом старом сарае с дырявой крышей. Всюду грязь и зловоние, на холодной земле рядом лежали полуживые раненые, которые не могли встать, и уже умершие. Им поднимали руки, чтобы получить за них пайку хлеба. В пищу давали горячую грязную бурду с небольшим количеством картофеля, который бросали в огромный котёл прямо из мешков, не только с кожурой, но и с землёй. Хлебали это из консервных банок, из шапок или просто зачерпывали пригоршнями.

Петька, набравшийся от бабушки ума-разума, часто к месту повторял что-нибудь мудрое. «Лучше не есть эту

баланду, – говорил он своему другу, – а то понос пробежёт – тогда точно не жильцы. Бабка всегда выбрасывала прокисшие щи. Их даже собака не ела. Вот так! Будем хлеб экономить. Да ты слышишь меня, Васька?»

А Василий смотрел в дальний угол сарая. Там толпились женщины. Некоторые, плача, с нежностью показывали друг другу какие-то кулёчки и тут же прятали их на груди под пальто или под ватник. «Что это у них?» – подумал Васька, но тогда узнать так и не довелось. Подошёл очередной состав и увёз новую партию узников вместе с Васькой и Петькой.

Открытые платформы с высокими бортами плотно набили людьми. Человеческая масса даже не могла пошевелиться. Среди живых стояли торчком и только что умершие... Мальчишки держались вместе. Экономя силы, они не разговаривали. У всех было полно вшей. Пока поезд шёл, качало из стороны в сторону, вши не чувствовались, но как только останавливались где-нибудь в тупике, чтобы пропустить встречный, зуд становился нестерпимым.

Это продолжалось три дня. На четвёртый, рано утром мороз стал крепчать, и у Васьки перед глазами всё поплыло... Нет ни Петьки, ни пленных, ни немцев, ни эстонцев с автоматами по краям вагона... Перед глазами, как живой, молодой лейтенант, который приезжал в деревню за мобилизованными. Он поворачивается лицом к Ваське и, вытянув руку с пистолетом, долго кричит, будто пытается что-то ему доказать. Потом вдруг наклоняется к нему и еле слышно медленно произносит: «Пойдём за мной в атаку...» Лейтенант ещё раз взмахнул рукой, опять что-то крикнул, и его медаль звякнула о пряжку портупеи...

Васька вздрогнул. «За мной в атаку!» – медленно повторил он про себя. – Почему именно сейчас эти слова так отчётливо прозвучали? – Тогда, в июне сорок первого, он на них не обратил внимания. «Почему я не бегу вслед за этим лейтенантом?» – мысли смутные и путанные, словно паутина, обволакивали его разум и заслоняли от реальности. «Вот если я с оружием мчусь прямо под пулемётный огонь, то взять и упасть, отлежаться... Ведь это трусость? –

Конечно, трусость!» – сам себе отвечал Васька. «Наверное, в бою никто так и не делает. Стыдно. Но здесь... Здесь-то всё не так. Здесь всё по-другому заварено», – как мог, убеждал себя Василий. «Ты вовсе никакой не боец, ты без оружия, без тёплой одежды, голодный, никто тебе не поможет и... Только бы поскорее накормили, хоть бы быстрее война закончилась... Не важно, как... Не важно, не важно...» Васька снова вздрогнул. «Кто это сказал?» Вокруг, закрыв глаза и покачиваясь в ритм стука колёс, стояли люди. Их брови, ресницы, густая небритая щетина покрыты белым инеем, и почти не видно пара от дыхания. «Я сам? Наверное, только подумал? А, может, и говорю это сейчас... Вслух?!»

Василий вдруг вспомнил, что за последние десять дней ни разу не подумал о Зине, о родственниках и вообще ему на всё наплевать. Только бы поскорее закончилась эта бесконечная дорога.

Чудо явилось в виде тощего мужика в кепке, в чёрном пальто и с цветной нашивкой на рукаве. На очередной остановке оставшимся в живых гражданским и военнопленным, которые за последнюю неделю превратились в неподвижные белые манекены с одеждой, покрытой снегом и коркой льда, немецкое командование предложило паёк и чистое бельё...

3.

Позади платформы на здании вокзала виднелось название города – Lublin. Солдаты выдирали гражданских из плотной массы почти смёрзшихся тел и куда-то уводили. Уже половину забрали, и обратно никто не возвратился. Подошла очередь Василия. Его ноги замёрзли, затекли и не слушались. Вдруг появившаяся острая боль в паху не давала покоя и заставляла то и дело сгибаться. Но остаться – значит опять куда-то ехать! Нет! Будь что будет. Он что-то шепнул приятелю и сам вывалился из вагона на платформу. Встал на четвереньки. Через мгновение рядом очутился и Петька. Обессиленный, не имея возможности согнуть ноги в коленях, он ползал вокруг Васьки, пока охранник, тыча в спину автоматом, силой не поставил их на ноги.

Трое немцев подхватили мальчишек за руки и поволокли в сторону. «Вот сейчас шлёпнут за ненадобностью», – мелькнуло в голове у Васьки. Вдруг солдаты остановились и отошли, оставив ребят стоять перед мужиком в пальто и кепке. «Нет, в вагоне вроде другой был», – усомнился Петька.

– Сколько лет? – первым делом спросил мужик, с недоверием глядя на Петьку сверху вниз и тыча пальцем в его грудь.

– Нам шестнадцать, – опережая ответ приятеля, соврал Василий, вытягиваясь во весь рост и демонстрируя свою выправку: пятки вместе, носки врозь, руки по швам.

Петька кивнул головой. Его глаза остановились на добротном чёрном драпе стоящего прямо перед ним мужчины, он не мог отвести взгляда от блестящих пуговиц. В голове почему-то промелькнуло: «Наверняка, начищены зубным порошком». Потом поднял глаза и, всем своим видом демонстрируя смирение и верность, будто идиот, наклонил голову и заулыбался во весь рот.

– Выбирайте юноши: или в лагерь или в Русскую освободительную армию, – длинный показал рукой нашивку на рукаве пальто и охрипшим голосом привычной скороговоркой добавил. – Хотите послужить правому делу – сейчас решайте. Или завтра пойдёте пешком в лагерь смерти. Майданек тут рядом совсем, – он небрежно мотнул головой в сторону высоких труб с чёрным дымом, видневшихся на краю города, и направился к другим узникам.

Васька не знал, что такое «лагерь смерти», но ясно, что там убивают. Не знал он и что такое эта «освободительная армия», но догадывался, что уж точно не русская – наверняка немцы придумали какую-нибудь пакость. «В лагерь мы всегда успеем, – рассуждал про себя Василий, – а вот оказаться на фронте – это как раз то, что нужно. Там-то уж как-нибудь сумеем смыться».

– Надо соглашаться. А, Петька? Повоюем? – Васька хитро посмотрел на приятеля.

– Да, я согласен, нам подышать, вроде бы, ни к чему... – подыграл Пётр. Он всё время нагибался, чтобы не казаться таким маленьким, а заодно растирал руками ноги, чтобы

разогнать застоявшуюся в них кровь. – Небось, и пожрать дадут, и одежонку...

Мужчина в пальто снова повернулся к мальчишкам, подтолкнул Василия в сторону двери какого-то барака и отрывисто крикнул:

– Туда!

Друзья, сутулясь и припадая то на левую, то на правую ногу, вошли в барак. Здесь вовсю чадили чугунные печки и было тепло. Впервые за десять дней тепло. За длинным столом, сколоченным из нестроганных досок, сидели двое в непонятной форме – немецкая, а погоны без «косичек». Они спрашивали и записывали всё, что говорили о себе мальчишки: имя, фамилия, год рождения, где проживал, где родители, нет ли родственников-коммунистов и ещё много-много всякого. Потом им дали подписать бумагу – заявление о добровольном вступлении в РОА.

«А что? Хоть день, да наш! – говорили между собой военнопленные, согласившиеся надеть немецкий мундир. – Как-никак три сигареты в день и баланда погуще». Чтобы семьи «без вести пропавших» продолжали получать паёк, попавшие в плен регистрировались под чужой фамилией и вымышленным местом жительства.

После взрыва на железной дороге все узники перепутались, и мальчишки тоже сообразили назваться другими именами, а чтобы взяли в армию и отправили на фронт, прибавили возраст.

Всех, кого собрали в бараке, человек пятьдесят, строем отправили за перегородку. Там они разделись, встали вдоль стены, и их долго обмывали струёй из пожарного брандспойта. От холодной воды сильно пахло хлоркой, в глазах щипало, но зато смылись все остатки прилипшей к телу грязи и вшей. После выдали чистую одежду и сапоги. Боль внизу живота чуть утихла. Васька натянул на себя кальсоны и мундир с немецким распластанным орлом на правой стороне груди и с цветной нашлёпкой на левом рукаве. В голове промелькнуло: «Как-то погано, как-то не так хотелось... А её и не оторвать». – Василий потрогал рукой нашивку и глянул на Петьку. – Тот крутился на месте, усердно

пытаясь увидеть со всех сторон своё новое не по размеру длинное одеяние: «Нет ли ещё где наплёпок и орлов, которые потом нужно будет по-быстрому срезать?»

На следующий день их на машинах доставили на площадь перед городской ратушей. Там в две шеренги стояли такие же, как они, в шинелях с такой же, как у них нашивкой на рукаве. Принимали присягу на верность фюреру. Все хором повторяли: «Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооружённых сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю — для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови...» Потом каждый подходил к столу, брал перьевую ручку и, обмакнув её в чернильницу, подписывал текст присяги. «Хоть и чужбина, а чернильница такая же, как у нас в школе», — мелькнуло в голове у Василия, и на тонком листе с таблицей фамилий и подписей он нацарапал витиеватую закорючку, такую же, как и на «добровольном согласии». Ещё вместо точки хотел проткнуть пером бумагу, но раздумал.

Времени на тренировках по стрельбе и строевой подготовке приятели зря не теряли. Они подробно, как им казалось, обсудили все возможные дальнейшие события. Куда повезут? Когда? Как они побегут? Что будут говорить своим? В сущности, весь их план сводился к тому, чтобы при первой же возможности удрать. Что такое присяга у немцев и подпись на документе? Об этом мальчишки не задумывались. Они же не нашу присягу нарушат, а немецкую. Да и фамилии другие... И всё-таки что-то мучило Василия, не отпускало какое-то брезгливое чувство. Иногда где-то внутри звучали слова: «А ведь мы всё равно согласились бы пойти в эту армию, только бы не мёрзнуть там, в вагоне...» Эту паскудную мысль Василий гнал от себя прочь. Гнал, а она вновь и вновь напоминала ему о себе: «Тоже мне... В атаку! За мной!... Трус ты, Вася! Как ни назовись. Трус, трус, трус...» В такие минуты Петька смотрел на приятеля как-то по-особенному, будто слышал его мысли, сомневался в чём-то и спрашивал своего друга непривычно

серьёзными синими глазами – спрашивал о самом главном, о самом сокровенном: «Получится у нас?..»

В декабре отдельную роту власовцев отправили в Белоруссию, где Красная Армия вела наступление на Витебско-Полоцком направлении. Заняли оборону. Долго рыли мёрзлую землю, потом мокрые от пота, незаметные на снегу в белых маскхалатах сидели на дне окопа и ждали приказа наступать. Впереди редкий лесок, за ним свои. «И тут, и там русские...», – подумал Василий, а потом вдруг нагнулся к Петьке и прошептал: «Чёрт, нашивки-то не срезать! Не снимать же этот балахон...»

– А у меня вот что, – Петька достал из-под маскхалата ворот шинели и с гордостью повернул его тыльной стороной. Там блестел покрытый красной эмалью флажок со звездой посередине и с большими жёлтыми буквами «КИМ». – Перед войной нашёл, когда с бабкой в город ездили.

В небо взлетела зелёная ракета, власовцы с неохотой повылезали из траншеи и цепью медленно двинулись вперёд. Рядом в сторону русских строчил пулемёт. Мальчишки чуть замешкались, а когда многие уже шли в атаку, дали очередь в сторону пулемётчиков и рванули вслед за другими. И нужно-то было всего – свернуть чуть левее, пробежать метров сто, не больше. Там, за пролеском, поперёк полянки уже виднелась на снегу свежая чёрная земля. Бежали зигзагами, хоронясь от пуль с обеих сторон. Вот и лесок! Сзади опять гулко застучал пулемёт. Петька клюнул носом в снег. Василий тоже упал – под пулемётным огнём бежать стало невозможно. Он позвал Петьку, но тот продолжал лежать лицом вниз и не шевелился, – тогда Василий подобрался к приятелю, с трудом перевернул его на спину и прильнул головой к сердцу. Тишина! Принялся искать следы от пуль и только, когда взглянул в Петькины остекленевшие глаза, всё понял. Обстановка не давала времени на раздумья. «Тащить с собой или оставить? Тащить или как?» – секунду другую Васька медлил, потом закрыл Петьке глаза, – вспомнил, как это делали взрослые, – и отполз в сторону, совсем забыв про значок на его воротнике.

Ещё через минуту Василий, перемахнув через бруствер из чернозёма, оказался «у своих». Вокруг все такие же, как он, в белых халатах, стреляют из автоматов, оттаскивают раненых, кричат, ругаются. На душе у Васьки стало тепло, и нега разливалась по всему телу, даже спать захотелось. Вначале на него даже не обратили внимания, но когда атака власовцев была отбита, подобрались двое, посмотрели внимательнее, и тот, что постарше с размаху треснул Василия прикладом по голове.

У него давно уже сдвинулся белый капюшон, а там чернела ушанка с орлом вместо красной звёздочки. У «своих» разговор был короткий. Особисты даже не слушали про то, как два мальчугана Васька и Петька сбежали от власовцев. «Да ты, подлюга малолетняя, шибко прыткий, как я посмотрю!» – заключил лейтенант, похожий на командира, который приезжал в деревню в начале войны. Такой же молодой, с одной медалькой на груди, только вместо петлиц малиновых ярко-синие погоны. Он аккуратно записывал в амбарную книгу и одновременно проговаривал вслух то, что писал, будто читал по слогам: «...раньше других власовцев пробрался в траншею, занимаемую бойцами войсковой части № 4527/23, и был пленён подоспевшими красноармейцами».

Василия отправили в тыл, в походный проверочно-фильтрационный лагерь. Там были и красноармейцы в одних гимнастёрочках, и казаки в своих тёплых нахлобученных кубанках, и типы в полицейских чёрных шинелях, и даже несколько в эсэсовских мундирах с отодранными «молниями» на петлицах... Спали прямо на снегу.

За что боролись, на то и напоролись! – в сердцах прошептал Василий. – После всего того, что ему довелось увидеть в особом отделе и здесь в лагере, он вдруг ясно понял, что если бы не возраст, шлёпнули бы, не раздумывая. – Хоть поверили, что ещё нет пятнадцати лет... – Мальчишка даже успел подумать: «Ну, вот, Петька, не везёт нам. Выходит, опять всё зря – опять в тыл!»

Но это был совсем другой тыл. В тюремной канцелярии сунули Ваське под нос бумажку: «Распишись!» Он глянул:

«По решению ОСО военной коллегии... на основании статей УК РСФСР... на срок 25 лет с вечной ссылкой...» Лист папиросной бумаги дрожал в Васькиных руках, пока он читал еле заметные печатные буквы приговора. Чернила в ленте пишущей машинки давно высохли, а сама лента истёрлась до дыр, поэтому во многих местах вместо букв тонкая почти прозрачная бумага была насквозь пробита металлическими литерами. Слезы ручьём текли из глаз и мешали разглядеть весь текст. Второй раз за последнюю неделю Василий расписывался в документе. Второй раз за всю свою жизнь. В этот раз настоящей фамилией. Мол, ознакомлен!

4.

До войны самой красивой девчонкой в деревне считали Васькину сестру Зину. Отбоя не было от ухажёров. Когда пришли немцы, она всё дома сидела, пряталась. Стали угонять в Германию – замотала голову грязным платком. За неделю пути в вагоне скопилась невообразимая вонь, всюду испачканная солома, два ведра с испражнениями упали и катались в луже мочи из стороны в сторону, разбрызгивая её на тех, кто рядом. Свежий воздух поступал только через маленькое зарешеченное окошко сверху стены, и его явно не хватало. Первый раз довелось выйти из вагона только в самой Германии, в городе Лейпциге. Девчонки стояли вдоль стенки, прижавшись друг к другу, голодные, чумазые, в лохмотьях. Одним словом – рабы. Вышли из вагона, глаза таращат, смотрят по сторонам. А вокруг чистота, дома разноцветные, церкви непривычные, оркестр играет, трубы блестят. Пока колонну вели от вагона к бараку, солдаты в чёрной форме отбирали девушек для работы прислужкой в домах у богатых немцев. Зина оказалась среди них – красота всё равно пробивалась наружу. Не утаишь!

На следующее утро, продезинфицированная, вымытая, причёсанная и одетая во всё чистое, Зинаида предстала перед новыми хозяевами. Теперь она «остарбайтер», заключенная, числящаяся за концентрационным лагерем № 153/46 в пригороде Лейпцига, но прикомандированная к немецкой семье. Глава семейства – инженер-строитель,

степенный лысоватый дядечка, у него молодая жена, мальчишка двух лет и сын инженера от первого брака – студент. Все культурные, вежливые, не кричат, дома чистота и порядок. У Зины своя комната, кровать с тумбочкой, большое зеркало и два одеяла. Она быстро научилась понимать приказания, неожиданно для себя запоминала длинные фразы по-немецки и к месту произносила их совсем без акцента. Среди множества платьев и фартуков, предназначавшихся прислуге, выбирала, как ей казалось, самые симпатичные фасоны с приятными глазу сочетаниями цветов. Это приметили. Ей стали доверять. Она подавала на стол, делала в городе покупки для дома и даже ухаживала за ребёнком. Словом, «повысили»!

Старший сын инженера, высокий, подтянутый, интеллигентного вида, пожалуй, даже влюбился в русскую служанку, частенько заходя к ней в комнатку, помогал с немецким языком, да и сам русскому учился. Он каждый раз приносил один цветок. То ветку мимозы, то сирень, то ирис, то ещё какой-то, даже не запомнить, так мудрёно назывались. Когда он поцеловал Зину, она расплакалась, и от этих слёз её большие карие глаза стали ещё красивее.

В свободное время Зинаида садилась за маленький столик и перьевой ручкой чернилами строчила письма брату Васе и сёстрам. Каждую неделю писала и всегда что-нибудь прибавляла по-немецки. Рассказывала, как ей живётся на чужбине, какая у неё работа и какой хороший хозяйский сын. Всякий раз вкладывала в конверт свою фотографию. То она в новом платье, то в пальто с сумочкой и в шляпке, которая держалась на голове так, что почти не скрывала причёску. Целая пачка таких конвертов накопилась. Зина их перевязывала ленточкой. Вроде как дневник. Одно плохо – про себя рассказывает, а о родных ничего не знает. Как они там? Как Васечка один в деревне справляется? Глупенький, наверняка опять убежал фашистов бить. Ловить-то теперь некому.

А время шло. Осенью сорок третьего на войну призвали старшего хозяйского сына. Забрали с четвёртого курса университета. Перед отъездом на Восточный фронт отец и сын

долго и громко разговаривали. Глава семейства, будто убеждая, что-то втолковывал сыну. А что? – Зина не разобрала. Понимала только отдельные фразы. «Гитлер и нацисты начали войну... Гибель Германии...» Потом что-то про семью, про долг, про родину... Зинаида, всего год проживя в Германии, уже понимала, что здесь одних этих слов хватило бы для того, чтобы собеседники оказались в лагере.

Через три месяца пришло сообщение о том, что сын инженера пропал без вести. Когда отец читал эту официальную бумагу, его жена сидела в кресле и, не переставая, плакала, держа у глаз белый платок. Зина стояла рядом и тоже ревела. А маленький хозяйский сынок с испугу прижался к ней, обхватив ручонками колени...

Перед новым, сорок пятым годом на Рождество хозяева подарили Зинаиде драповое пальто, коротенькую беличью шубку, шляпку, отделанную тем же мехом, и коричневые кожаные сапоги на каблуках. Ни дать ни взять, немка! Свободно говорит, читает и даже пишет. Вот ведь талант какой раскрылся! За три года для этой немецкой семьи она стала почти «своей».

Однажды весной инженер позвал Зину к себе в кабинет и начал необычный разговор, необычный для хозяина и прислуги. Он предлагал Зине уехать вместе с ними на запад в Лотарингию, на его родину. Он даже сказал почему. «Потому что война скоро кончится, фашизм наконец-то разобьют, а жить потом всё же лучше подальше от русской армии с её комиссарами... Я знаю, что говорю. Я работал у вас в России в тридцать пятом...» Глава семейства то и дело вставлял в немецкую речь русские словечки, словно этим хотел вызвать её доверие. Зина уже свылась с тем, что не всё понимает из того, что говорили в доме. Да и понимать особенно нечего – всё и так было понятно, без слов. Но в этот раз её нужно было убедить. Вкрапления из искажённых русских слов аргументов не прибавляли. Звучащие из уст немца они, наоборот, только усугубляли ситуацию и отталкивали Зинаиду, напоминая ей и о деревне, и о брате, и о сёстрах... Они заставили вспомнить и о другом. О том чувстве, которое прививали с детства: «Бросить свою стра-

ну или даже подумать об этом – преступление, такое же страшное, как шпионаж или вредительство...»

Зинаида осталась в большом пустом доме одна.

В первый же день, как только в городе появились русские, её сочли за немку, стали допытываться, где семья, где мужчины, искали военную форму в шкафу. А когда она заговорила по-русски, сработал инстинкт. «Ах, ты стерва, ещё и по-нашему лопочешь! Шпионка», – сначала Зину избили, а потом потащили на кровать. Её слёзы, крики, русская речь, все матерные слова, которые она знала, их не остановили. Ведь ими двигала не столько похоть, сколько месть. Как ни старалась казаться своей, русской – приговор солдат как ножом резал: «Наших таких не бывает!»

В советской военной комендатуре начались проверки и бесконечные допросы. Через это чистилище проходили все: выжившие узники концлагерей, остарбайтеры, интернированные, бывшие власовцы, беженцы из Прибалтики, с Западной Украины. Переводчиков не хватало, и Зина пригидилась. Её зачислили в штат военной администрации. Она сидела на допросах, переводила, записывала вопросы и ответы. Каких только судеб ни нагладелась за три послевоенных года. Были здесь и такие же, как она. Почти всех отправляли в фильтрационный лагерь. Отпускали сразу только в одном случае – если кто-то подтвердит, что ты здесь, работая на немцев, боролся против фашизма вместе с немецким подпольем и коммунистами... В общем, пока разберутся, всё равно года два пройдёт. Там же, в Лейпциге, в сорок седьмом, будто в награду за работу в комендатуре, Зинаиду приняли в комсомол.

Тогда у многих были сомнения: «Возвращаться на родину или нет?» Неясно, что там с ними будет. Ведь если работал на врага, значит сам «враг народа»! Даже если немцы во время оккупации жили в твоём доме, всё равно – пособник! Но эти раздумья больше мучали тех, кто оказался у американцев или у англичан. У тех, что были в русской зоне, такие мысли возникали редко. У Зины промелькнёт, бывало, где-то в глубине души тревожное чувство, но тут же исчезнет. Когда в начале войны впервые попала в самый

центр Германии, сама фраза «в городе полно немцев» казалась страшной. Потом привыкла. А теперь вокруг родные лица – считай, уже дома! Для неё всё было ясно с самого начала – только домой! В свою родную деревню.

Проработав три года в комендатуре, Зинаида получила справку из МГБ, что она хоть и интернированная, но «хорошая». Приехала в Ленинград. Немецкая одежда – а у неё другой и не было – делала её необычной и многих настораживала. Идёт по городу такая красивая, что все оборачиваются, как будто правы были те, в Лейпциге, что говорили: «Наших таких не бывает».

Сёстры Катя и Шура ещё в сорок четвёртом, сразу после снятия блокады Ленинграда, вернулись из эвакуации, а в сорок седьмом их направили на работу в РАЙФО города Приморска, бывшего финского Койвисто. Туда же вскоре добрались и их мужья, сначала Дмитрий – Катин супруг, а потом и Глеб – Шурин. Глеб, бывший танкист, трудился газосварщиком на единственном в городе «закрытом» заводе. Каждый день к семи утра уходил на работу, а в семь вечера, усталый, возвращался. Два часа на дорогу. То ведро принесёт с работы, то коловорот, изготовленный на заводе. Позднее появилась нержавейка. Из неё рабочие делали себе табуретки, вёдра для соления, ручки для дверей, ножи. Все могилы на местном кладбище блестели этим металлом. По воскресеньям за столом Глеб всегда выпивал и с грустью вспоминал предвоенные годы, когда он был в почёте – знатный тракторист, награждённый грамотой всесоюзного старосты Калинина...

А Катин супруг ещё в конце сорок второго по инвалидности был демобилизован, и вернулся к жене, отыскав её в эвакуации. Он не работал, всё больше дома сидел и пил водку. Однажды в санатории, уже лет через пятнадцать после войны, врач ему сказал, что, чем водку хлестать, лучше сухое вино пить. Полезно, мол. Нашёл, кому такое сказать! Он этот «сухарь» глотал литрами. И не хотелось ему ни былого юношеского веселья, ни воспоминаний об отчаянных драках после танцев в деревенском клубе. Когда в шестьдесят четвёртом семью переселили в первый пяти-

этажный кирпичный дом города – с отоплением и газом, он неделями из квартиры не вылезал.

Зине дали комнату в деревянном одноэтажном доме на окраине Приморска. Вокруг сараи из некрашенных выцветших досок да несколько сохранившихся после финнов покосившихся барачков. Она стала преподавать немецкий язык в местной школе. Молодая, красивая – такую не заметить невозможно. Целый месяц за ней ухлёстывал видный парень с длинными бакенбардами и с чубом, торчащим из-под морской фуражки, старпом рыболовецкого сейнера Николай. Его все в округе знали. Такие, как он, ни одной юбки не пропустят. Зина его старалась избегать, ей больше нравился завуч школы – учитель математики, мужчина обстоятельный и уже в возрасте. А старпом, тот сильно гулять и пить любил, да и моложе Зины был лет на пять.

Всё-таки однажды после пирушки по случаю открытия навигации Николай внаглую ввалился к Зинаиде в комнату, завалил её на кровать и изнасиловал. Зина забеременела, и ей ничего не оставалось, как оформить брак с Николаем. Боялась огласки: она и так-то была «не как все», а тут ещё такое.

Старпома редко можно было застать дома. А когда возвращался – втягивался в пьянку. Тогда супруги ссорились и по поводу, и без повода. Увидит он немецкую фотографию жены, где она в шляпке и улыбается – сразу в крик, рвёт фото на мелкие кусочки, будто из ревности к той её жизни. И частенько в такие дни поднимал на жену руку.

Когда пришло время рожать, выяснилось, что плод мёртвый, и Зина уже никогда не сможет иметь детей.

5.

О том, что закончилась война, зеки в Сиблаге узнали не сразу, а лишь через месяц. От них скрывали. Должно быть, не хотели делиться радостью. Ведь сказать такое перед строем заключённых совсем не то же самое, что после боя перед Рейхстагом. Что же потом, с каждым их них обниматься и целоваться? Да и зеки все разные: немецкие военнопленные, бандеровцы, провинившиеся за войну или

оккупацию власовцы, полицаи... Были и уже успевшие отсидеть свою десятку военные и инженеры, учёные и священники, бухгалтеры и студенты... Этих называли «политикой» и гоняли по этапу из лагеря в лагерь, чтобы не привыкали друг к другу. Гремучая смесь из «шпионов», «диверсантов» и «троцкисто-зиновьевцев» могла и взорваться! Много шныряло вокруг и всяких ворюг и настоящих бандитов – попробуй разобраться! В самом себе-то так накручено, что не поймёшь...

Каждый по-своему принимал новость о победе в войне. Кто-то никак не реагировал. Победили, – значит, точно ещё сидеть и сидеть! Только теперь, чтобы поскорее выветрились ненужные иллюзии, в тысячный раз, выходя из строя, придётся гораздо громче и членораздельнее произносить: «Заключённый такой-то, статья такая-то, срок – столько-то лет». Может, и колыхнулось у кого-то внутри, под телогрейкой, у сердца, но так, слегка, будто победа эта не здесь, а где-нибудь в Корее или в Китае, и с ними никак не связана: ни по времени, ни по территории, ни по душе. Другие радовались победе искренне, некоторые стали просто ждать амнистии. Полицаи и власовцы, те, что из карателей, злились: в своё время поставили на немцев и просчитались. Эти не упускали возможность хоть чем-то отомстить всей «немчуре» – немцам, бандеровцам и прибалтам.

Попадая на новую зону – в Коми, за Урал или на Колыму, Василий всматривался в лица, мучительно пытаясь отыскать такого, как он ненастоящего власовца, обиженного на власть за возведённую на него напраслину. О своём детстве, о прошлом Василий старался не вспоминать. Эти мучительные размышления не приводили ни к чему хорошему – одна безысходность. Но когда сумерки пригласили все цвета, ему некуда было бежать от своих кошмаров. Страх заставлял его жить воспоминаниями, придавая им неправдоподобно героический характер. Как-то перекрутилась в сознании вся его жизнь, и иной раз ему даже обидно было, что он какой-то неполноценный, сидит не пойми за что, не может, как другие, чуть ли не гордясь, дерзко называть себя «власовцем».

А потом всегда наступало утро, серое, безрадостное и зыбкое. И тогда будущее представляло как жуткий калейдоскоп из щемящей тоски, несбывшихся надежд и ожидания неизвестного.

«Удрать бы! Набрать грибов, наловить рыбы, развести костёр, сделать шалаш», – по-детски мечтал Василий. – «А что? Я смогу... Но зачем?» И опять только одна мысль – удрать! Удрать в лес, в самую глушь, где не отыщут. На Север, что ли... Он лежал на голых нарах, словно наждаком натёртых до блеска робами, пропитанными грязью, потом и кровью тысяч заключённых. Над лагерем собирались и медленно плыли дождевые облака, вот-вот грозясь прорваться. Словно судьба, они давили на каждого из поселившихся здесь, вызывая или полную апатию, или готовность действовать. Первая уничтожала надежду, а готовность действовать уничтожала апатию. От тебя зависит, что побеждает.

«Однако нужно ждать лета», – решил Василий.

Летом сорок седьмого все немного ожили. Солнышко быстро возвращало силы. Как-то в июле начальник отобрал десять человек и послал с охраной на новый объект в лес, километров за двадцать. Там стоял то ли сарай, то ли старый полуразрушенный домик, который сразу огородили колючей проволокой. В нём и разместились заключённые: политические, уголовники, власовцы и военнопленный немец. Охрана – рядом в палатке. На высокой сосне закреплены два прожектора, соединённые с движком на солёре. В глухом лесу зачем-то нужно было выкопать двести ям, размером два на два метра, глубиной тоже два. Жара стояла невыносимая. От неё и от вездесущих рыжих комаров не укрыться. Но всё же не лагерь! Как говорил Петька: «А всё равно рядом какая-нибудь пакость присосётся». Злющие кровососы, наверное, для того и жили, чтобы тут же отбирать у всего живого подаренную солнцем энергию. Волдыри от укусов покрывали лицо, шею, уши. Их расчёсывали до крови грязными руками, потом всё тело шло нарывами. Напившись крови, обессиленные комары падали на землю или попадали в миски с баландой. Одни эки

брезгливо отодвигали их ложкой. Другие, не обращая внимания, хлебали горячую воду с разварившейся луковицей и редкими капустными листьями вместе с рыжей комариной кашей.

Охрана разрешала в вечернюю смену оставлять недокопанные ямы и рядом начинать новые, чтобы в полдень в самый солнцепёк залезать в недовырытую яму и выковыривать грунт в тени её стен. Грунт был невыносимо тяжёлым. Иной раз зэки усаживались на дне и кайлом ковыряли дно, надеясь увидеть: «Что же там дальше, когда земля-то нормальная начнётся?» Известняк и известняк! Его лопатой не взять. В четыре часа дня били в рельс, и охрана вела всех на водопой – к реке. В неё входили прямо в одежде и, как лошади, пили воду. Под жарким солнцем она становилась тёплая и совсем не утоляла жажду. Пока не видят вертухаи, кое-кто ухитрялся окунуться с головой, добирался поближе ко дну и там, прямо под водой, глотал её, холодненькую. А увидят, что тебя вроде как нет, сразу начнут палить из карабина в воду – попытка к бегству.

Выкопали эти двести ям, залили раствором, а сверху каждой для будущих столбов смастерили опалубки такого же размера, между ними на высоте двух метров проложили доски – дорогу для тачек. Раствор делали блатные, политические стояли около ям и кидали камни в выливаемую из тачек жижу, остальные возили тачки по проложенным поверх опалубки доскам-сороковкам. Они не сколочены, просто положены одна на другую, под тяжестью зэка с тачкой длинные доски прогибаются, то и дело расходятся, и зэки падают прямо на разбросанные повсюду камни. Со стороны, через лес бетонных двухметровых столбов не видно, упал он или ещё где-то тащит свою деревянную тяжеленную тачку по серпантину досчатых дорог. Все падают по многу раз, но «сороковки» скрепить всё равно нечем – гвозди на строгом учёте. У Василия и лицо, и тело тоже в синяках; ладони туго затянуты тряпками – мышцы на руках растянуты так, что ложку не держат. Уже второй месяц перед глазами жуткий, будто в крови, красный известняк и колышащаяся в тачке серая жижа бетонного раствора.

На душе у Василия становилось легче лишь в конце смены, когда все, развалившись на сене, начинали храпеть. Сквозь храп едва прослушивалась слабая дрожь шелестящих листьев осинової рощицы. Василий вставал, подходил к огромной дыре в стене и любовался, как под лучами мощных прожекторов листья меняли свою окраску. В одно мгновение из тёмных и невидимых они превращались в белые, с блестящим серебряным отливом. Будто бы там, за колючей проволокой, весь остальной мир светится и призывно мерцает в ночи.

Вот здесь и нужно бежать, – решил Василий, – охрана пять человек, спрятаться легко, самое время...

Сегодня весь день впереди него маячил тощий немец с тачкой, позади – бугай из власовцев. Вдруг фриц исчез. «Вот тебе на!» – с досадой почти вскрикнул Василий. Он готовился, всё рассчитал, а этот взял и опередил! Худощавый длинный тип, неестественно скрючившись, валялся на земле среди камней, тачка лежала на его ногах, а губы на окровавленном лице что-то шептали. Василий услышал: «Помоги». Он и сам только что хотел также вот свалиться с тачечной дороги, спрятаться за горами камней, а потом улизнуть в лес между этими ямами и столбами. Немец испортил весь замысел. Двое – это перебор – заметят. Васька остановил свою тачку, прыгнул на землю и оттащил длинного к бочке с водой для раствора, что стояла около сарая. Подошёл охранник, Василий махнул ему рукой, мол, обычное дело, оторвал у немца кусок его чистой рубашки и перевязал голову. Ушиб показался серьёзным, наверное, даже сотрясение мозга, но крови было немного. Немец остался отлёживаться на земле возле бочки, а остальных этим же вечером повели к реке разгружать ручную – лопатами – баржу с цементом. Вернулись под утро, совсем белые, надышались цементом на всю оставшуюся жизнь. Василий, не переставая, кашлял, боялся, что у него внутри что-нибудь слипнется, склеится или схватится, как столбы в опалубке. Спать хотелось, но от перенапряжения было не заснуть.

Немец уже пришёл в себя, приковывал к своему спасителю и принялся его благодарить. По-русски он говорил

хорошо. Потихоньку вытащил из-за доски в стене зелёную травку, потом ещё что-то, завернутое в тряпку, и протянул Василию.

– Это хрен и мёд. Заверни в лист и жуй, не заболеешь. Витамини...

– Откуда? – удивился Васька.

– Хрен на берегу нашёл, – торжественно произнёс немец, – руками выкопал и посадил за сараем, осенью можно корень есть. Если доживём... Только поливать нужно.

– А это? – спросил Василий, отрывая зубами кусок от вязкой тёмно-коричневой массы. Вкус был терпкий с лёгкой кислинкой, а невероятный липовый аромат немного отдавал запахом дыма. Чудесный продукт чуть-чуть успокоил непрекращающийся Васькин кашель.

– Мёд. Тут рядом, в дупле. Я покажу, – фриц вдруг изменился в лице и с очень серьёзным видом, как будто нет ничего важнее в жизни, добавил: – Там ещё есть, но нельзя всё отбирать, нужно пчёлам на зиму оставить.

До подъёма оставалось два часа. Немец без остановки говорил о себе. Про то, что он студент-ботаник, недоучился – призвали в сорок третьем и сразу отправили на Восточный фронт. Сначала в интендантский взвод заготавливать продукты, потом их часть оказалась в окружении, многих убило, а он с белым платком в руке сдался в плен.

– Лучше здесь в лагере среди военнопленных, чем там расстреливать мирных жителей, – говорил студент. Он видел, как эсэсовцы заставляли простых солдат это делать. – Наци – большая беда для Германии. – Было видно, как немец радовался, что наконец-то выговорился, наконец-то нашёлся человек, который ему помог, выслушал и, может быть, даже понял.

А Василий молча слушал и всё это время жевал смесь из хрена и мёда. Ждал услышать привычное для немецких пленников – «Гитлер капут», но не дождался. Про свои злоключения он говорить не мог и не хотел. «Никто не верил, и уж этот фриц точно не поверит», – решил Василий. А немец вдруг взял Василия за руку, посмотрел ему прямо в глаза и как-то спокойно и уверенно заговорил.

– Тебя на войну кто позвал? Ты сам хотел на фронт. Ведь так? – Василий кивнул головой. – Ты захотел и попал. Пусть даже через эту форму, – немец ткнул пальцем в грудь, в то место, где оставался след от срезанной эмблемы орла. – У меня всё наоборот... Ни ты не хотел войны, ни я, а вот сейчас сидим вместе в этом сарае... Ты ко мне отнёсся, как к человеку... Я и не думал, что ты такой, всегда смотрел с ненавистью. А оказалось...

– Русский не может долго злиться.

– Да. Мой отец так говорил. Он знает русских и всегда был против этой войны. – Немец замолчал и, сжав губы, покачал головой, будто представил что-то страшное. – Что там стало с ним? Если бы не отец, может, я и в плен не стал бы сдаваться. Такая пропаганда... Ужас! Ты тоже не должен был верить этим! – И студент снова показал туда, где на выцветшей власовской форме выделялось тёмное пятно. – Когда я уходил, отец повторил мне слова древнеримского философа Лукреция: «Изгнать этот страх из души и потёмки развеять должны не солнца лучи и не света сиянье дневного, но природа сама своим видом и внутренним строем...»

Эти последние слова Василий не понял, но что-то в душе шевельнулось тогда. Странно, то ли немец слышал от кого про нелюдимого власовца, то ли был таким пронизательным, но Василий искренне удивился его словам, сразу проникся к этому парню доверием и как губка впитывал все, что тот говорил. Именно в ту ночь в сердце его пробудилось какое-то новое, незнакомое чувство. Нет, не уверенность, а скорее необъяснимое спокойствие. Будто он забрёл в тихую гавань – чудный приют измученной души, и здесь, в лесу, всё ласкало взор, и эта ласка, казалось, не утомит его никогда. Совсем, как тогда с Петькой на высоком берегу Плюссы... «Надо же! – подумал Василий, – немножко тихой воды и луч заката – самые простые вещи, самые обыкновенные, а ведь и самые дорогие, всех уравнивали...»

– И не стоит пробовать бежать, – немец прервал размышления Василия, – одному из тайги не выбраться, тем

более в такой дырявой обуви. Завтра оставь мне на ночь – почию. – Потом, помедлив немного, добавил: – Ты всё говоришь: «Свобода, свобода...» Главное самому чувствовать себя свободным, а остальное – ерунда! Как у вас говорят, перемелется.

«Чувствовать себя свободным, будучи за колючей проволокой...» – вслух повторил Василий. – Как это? – Не сразу, но уже скоро, даже этим же утром ему показалось, что он понял.

После утренней поверки эков повели на работу к ямам. Затвердевшие от пота и цемента белые одежды больно скребли по телу и мешали дремать на ходу. Посреди неровного строя заключённых немец выделялся своим тёмно-зелёным мундиром. Он шёл и, не смотря под ноги, любовался природой, то и дело задирал голову и глядел на ясное небо, как будто и не падал вчера на камни, как будто и не в лагере он, и не пленный вовсе. Видно, в это утро ему было радостно: вокруг вольно шумели деревья, роса поблёскивала на траве, пахло утренней свежестью, и всюду пьяный воздух – дыши, не хочу! А вот и его грядка за сараем. Растения немного подсохли на утреннем солнце. Студент, словно замороженный, вынул из кармана кружку и уверенной походкой направился к бочке с водой...

Раздался выстрел. Немец остановился и, повернув голову в сторону охранника, с удивлением посмотрел на него, а через мгновение упал на спину. Будто кто-то сзади сильно ударил палкой по его длинным ногам. Заключённые очнулись, остановились, трое попытались подойти к лежащему у обочины парню, замахали руками, закричали матюгами на охранников. Всё-таки десять человек не сотня. Целый месяц вместе – сроднились. И не важно, что фриц. Поначалу-то многие норовили ударить его или незаметно толкнуть посильнее.

Василий первым кинулся к немцу, и тут же, услышав леденящий звук передёрнутого затвора, остановился как вкопанный. Немец лежал так же, как и вчера, с раскинутыми руками, неестественно согнув длинные ноги. Окровавленная повязка на лбу сдвинулась, примяв светлые волосы,

а широко раскрытые глаза смотрели вверх. В них отражалось утреннее голубое небо, и искреннее удивление ещё не успело погасить светящуюся радость. Рядом с растениями с широкими чуть повядшими зелёными листьями валялась его алюминиевая кружка.

6.

Через год, в сорок восьмом, всех немецких военнопленных отправили на родину. А перед девятнадцатилетним Василием маячили двадцать лет лагерей и ещё один год. Но теперь ему было легче, он чувствовал, что одолеет, справится, выживет. Появился какой-то стержень, что ли, который поддерживал его в трудные часы, дни, месяцы и долгие годы.

«Может быть, вот так и устроено всё», – рассуждал парень с опытом старика. – «Не хлебнув горечи жизни, и не сломавшись однажды, невозможно поверить в свои силы». Теперь Василий ко многому относился иначе. Много для него стало ясным, а главное – он понимал и чувствовал самого себя, своё живительное единение с природой. Бывало, с умилением смотрел даже на пар, поднимающийся над прогретыми восходящим солнцем комьями целины, вспапанной вдоль колючей проволоки – там, где была воля, точнее – родная земля... Сейчас он понял, что, плача, прятали женщины по пути в Польшу. Понял – это была их родная земля.

В пятьдесят третьем умер Сталин, и в Сиблаг понаехали комиссии. Они ежедневно вызывали к себе от сорока до пятидесяти зэков. Беседа длилась не больше пяти минут и всегда заканчивалась одним и тем же: «Вы совершили преступление, но советское правительство амнистирует вас и освобождает из заключения». Слово «реабилитация» амнистированные даже не знали.

После освобождения из лагеря Василий остался в Магаданской области. Вечную ссылку ведь никто не отменял! Вкалывал, где придётся, учился в «шаромыге», куда брали с начальным образованием, а позднее окончил вечернюю среднюю школу. В пятьдесят седьмом отменили и ссылку.

«Всё! Свободен! Могу ехать – куда захочу, могу делать, что захочу! Теперь можно и родных отыскать».

Именно сейчас, когда все проблемы позади, когда, казалось, можно успокоиться, что-то заскребло внутри, и новые тревожные вопросы никак не отпускали: «Кто я теперь? Как жить среди родных? Чем заниматься?»

В памяти то и дело всплывал образ сестрёнки Зины, очень взрослой и серьёзной, как учительница. Петька со своими мудрёными мыслями... Никак не забыть его голубые глаза! Своей жуткой неподвижностью они больно били по нервам. «А как бы он вёл себя, если бы тогда добежал? Петька ни за что бы не согласился с тем, что в чём-то виноват. Уж я-то его знаю! Согласился, не согласился – какая разница! Важно, что о тебе думают другие! Кто другие?»

И память снова вернула Василия в Сиблаг, в сорок седьмой год, к разговору с немцем, который в последнюю для себя ночь подарил ему зелёный лист хрена, дикий мёд и откровение... «Всё, что с тобой происходит, только укрепляет, – уверенно говорил студент. – Это не я, так наш философ сказал. Ты уж поверь, – немец глянул на Василия и, как бы извиняясь, тихо произнёс: – Не обижайся на родину! Ей трудно сейчас. И твоей, и моей тоже. Не может она каждому в сердце заглянуть. – Сказал так и усмехнулся, наверное, подумав: «Поймёт ли этот мальчишка?» А самому тогда было всего на три года больше. – Я главное скажу: «Не важно, что ты хорошего сделал, важно, что ты хотел и к чему искренне стремился. И пусть никто никогда не узнает про это. Тебя даже будут считать врагом. Может, ты за всю жизнь так никому ничего и не докажешь...»

В ту ночь откровения с пленным немцем Васька первый раз за четыре года вспомнил, как перед самой войной они с Петькой стояли на высоком берегу, счастливые и свободные, любовались закатом, речкой, родной деревней и мечтали. Потом пыль за полуторкой, уходящей на фронт. Он даже почувствовал её на зубах... Вагон с ржавым гвоздём, окровавленные ладони... и этот чёртов орёл на груди.

Сегодня, по прошествии десяти лет, этих рассуждений для Василия было уже недостаточно. Мечталось быть по-

лезным людям, хотелось доброго слова, тепла родного человека. «А кто самый близкий? Конечно, Зинаида! Нужно всё ей рассказать, а потом обязательно побывать на месте родной деревни, подняться на крутой берег Плюссы...»

Через год Василий нашёл родных. Зинаида прислала приглашение, и он приехал. Город не простой, с важным заводом – закрытая зона, но местные власти выделили ему комнату в полуразрушенной халупе с печкой в рабочем посёлке рядом с городом и оформили прописку. Что смог – починил, дров наготовил. Из-за анкеты на завод его, конечно, не взяли. Устроился кочегаром в интернат для детей-инвалидов. Работа – сутки через трое. Первое время жил у Зины с Николаем. А когда перебрался к себе, часто уходил в лес, переправлялся на лодке на острова, долго плутал там – всё искал дупла с дикими пчёлами. Нашёл, смастерил несколько ульев и поставил их в лесу на поляне. Через два года Василий уже сдавал мёд через потребкооперацию, получал приличные деньги и на это жил. Потом закупил много всяких материалов: кожу, резину, войлок, суровую нить и наладил ремонт обуви. Знакомым чинил. Все в посёлке знали, что Вася-сапожник мёдом лечит все болезни, всегда поможет, подскажет – этаким местный мудрец и знахарь, в общем, в городе нужный и знающий человек. В то время было ему всего-то тридцать лет.

Но жил Василий замкнуто, никуда не ходил, разве что в продмаг или одежду купить. Бывало, придёт в магазин, молча ткнёт рукой в буханку хлеба, заплатит, возьмёт и уйдёт. Будто иностранец. Женой так и не обзавёлся. Зато на пасеке он преображался. Ходит между ульями, что-то вытащит из них, обратно вставит и всё говорит и говорит, не умолкая, – с пчёлами разговаривает: одних хвалит, других ругает, но ласково так... А ещё Василий умел слушать людей. Заглянет к нему кто-нибудь за мёдом или так – поделиться проблемой какой, потом уходит просветлённый, уверенный, будто ни с того ни с сего счастья привалило.

На второй год после приезда Василия родственники впервые вместе отпраздновали 9 Мая. Под конец застолья мужчины встали из-за стола и подошли к самому берегу

залива. Николай засуетился, как-то неестественно заулыбался, вынул из бокового кармана «маленькую», а из другого – три мокрые стеклянные стопки, с прилипшими крошками табака. «За наших выпьем?» Зятя повернулись друг к другу, Василий оставался чуть в стороне. Глеб и Дмитрий, посмотрели на Ваську и, будто стесняясь, опустили глаза, через мгновение снова взглянули на родственника. И теперь в их лицах читались противоречивые чувства. То ли это злость сверкала? То ли слёзы блестели в глазах и прозрачной пеленой гасили все их переживания?

Николай, так и не выпив стопку, вдруг неожиданно резко ударил Василия поддых, потом отскочил, словно опасался ответного удара, замахал руками и закричал «За наших!» Инстинкт сработал мгновенно. Зятя побросали невыпитые стопки с водкой и, кто как мог, кулаками, ногами, костылями, принялись тоже бить Василия.

Казалось, Василий ждал этого, он даже не удивился. Понимал, почему бьют, хотя здесь была не просто «ненависть ко всем власовцам», а что-то большее, что-то личное, послевоенное, что ли... Понимал, почему у Глеба и у Дмитрия были слёзы на глазах. И почему эти слёзы разные. Он знал, что Николай в следующий раз опять начнёт первым, норовя ударить больше всех. И за то, что на фронте-то он так и не побывал, и за то, что его Зинка в своём братце души не чаяла, и за то, что Ваську-сапожника в городе знали и уважали.

Хоть и родственники эти зятя, а ничто в прошлом не связывало Василия с ними. Кроме самой войны...

Через неделю после того дня Василий и Зина собрались навестить родную деревню. Вроде рядом, а весь день ехали на поезде, после на автобусе, потом на попутке. Добрались только к вечеру. Домов целых не осталось, но в густом рябиновом кустарнике отыскивали они свою почти сохранившуюся баню, в ней и устроились на ночёвку. Утром, перед тем, как идти пешком через лес к станции, постояли около обгоревшего сруба своего дома, навестили могилу родителей, потом поднялись на высокий обрыв и оттуда долго смотрели на то, что осталось от их родной деревни...

Русло реки было переполнено быстрой весенней водой. Она устремлялась вниз и, казалось, никто не сможет её остановить. Гладь воды отражала неподвижное солнце и медленно плывущие белые облака. Наверное, вынырнула какая-то рыба, глотнула воздуха и снова ушла на глубину. Только после от того места, раскачивая солнце, в разные стороны побежали чуть заметные волны. С легкостью минуя камыш и камни, они затихали у берега, охватывая торчащие из воды стволы берёз и кусты ольхи с прошлогодними серёжками на голых ветках.

– Понимаешь, у них жизнь как-то не так сложилась, не всё ладно у них сейчас, – первой заговорила Зина. – Ужасно, что они такие. Да, они не испытали того, что мы с тобой... Но война по всем проехала, и их тоже жалко...

Василий не сразу понял, что сестра говорит о родственниках, а когда сообразил, с усилием улыбнулся, будто хотел успокоить её, а потом обнял за плечи и тихо сказал:

– Можно подумать, что у меня или у тебя она сложилась так, как надо!

– Не так! Не так! Но мы с тобой сильные... Тебя уважают...

– Особенно твой герой. Так и норовил меня первым ударить, будто мстит за что-то, – перебил её Василий. – Как ты только живёшь с ним?

– А я и не живу. Одна видимость. – Зина замолчала на мгновение и вдруг сказала: – Знаешь, я ведь и не любила его никогда. Он силой меня взял... Так же, как наши солдаты весной сорок пятого.

– Зачем было замуж-то выходить?

– А ребёнок? Но он же умер... Да и вообще...

– Вот и у меня «вообще». – Василий замолчал, он не знал, как это сказать. – Знаешь, Петька всегда говорил: «Хорошее никогда не бывает просто так. Обязательно рядом какая-нибудь пакость присосётся».

– Ну так что?

– Ты же видишь, я совсем один, – а потом тихо добавил: – мне тридцать лет, а я ещё не знал женщины и не смогу уже...

Зинаида сразу стала серьёзной, дотронулась до руки Василия, как будто утешала больного:

– Ты что, Василий! Брось! У нас мужики только с алкоголизмом не могут справиться... А всё остальное – ерунда, перемелется.

Она повернула своё красивое лицо к брату. Большие карие глаза вдруг засветились по-особенному, словно смотрели на фейерверк.

– Любила только одного... – сказала она и успокоилась, словно сняла с плеч огромную тяжесть, будто раскрыла главный свой секрет. – Я тогда жила в Лейпциге в доме его отца.

– Он кто? Немец?

– Да. А что? Странно звучит? Может, и странно. Может, для других даже страшно. А для меня это были самые счастливые дни. Да, там, в Германии...

– Что ж не осталась тогда?

– Отказаться от родительского дома, от тебя, дурачка, от сестёр?..

– Ну и что? Если любишь...

– Его не стало. Да и потом...

– Что же? Он умер?

– Ушёл на войну и пропал.

– Так может, жив ещё. Сейчас где-нибудь жирует себе в ФРГ, – сказал Василий.

– В Лотарингии...

Зина опять замолчала.

– Мы часто с Петькой сюда забирались, – пытаюсь сменить тему, тихо произнёс Василий, – это его место. Здесь бы похоронить... Глупо погиб, не дойдя до своих каких-нибудь ста шагов. Хотя, может, и к лучшему...

– А кто умно погибал?

– Как кто? Кто на виду у всех, раскинув руки, закрывал собой амбразуру или, сражённый пулей, красиво падал на берёзку. Вот, кто!

– Васёк, ты ведь не обижаешься на родственников, правда? – вдруг спросила Зина.

– Ты скажи, что это за ревность такая? Или, может быть, жадность? – вместо ответа произнёс Василий. – Всё-таки мы победили... а они не хотят ни с кем делиться...

– Они хотят, чтобы праздник этот был только их!

– Победу нельзя делить, – убеждённо, как вымученную истину, произнёс Василий. – Она одна на всех... Ты понимаешь, на всех! Не только для тех, кто ранен, погиб красиво, и не только для «наших», но и для таких, как Петька, как ты, как другие... как я... Война всё у нас отняла.

– Каждый заплатил свою цену, – понимающе закончила Зина. Почти целое поколение покатилося куда-то, и мы до сих пор хлебам всё это. Ты, мальчишка наивный, Васенька, за машиной бежал на фронт... Я помню... Родину любил... Ну, правильно любил. Думал, что тебе поверят там, на передовой? Мы-то, родные, верим. – Зина положила руку на плечо брату. – Главное – мы вместе. Найдёшь ещё жену, будут у тебя дети... Вот им-то жить и жить...

– Я тоже знал одного фрица, – вдруг вспомнил Василий. – Молодой такой, сам сдался. Были вместе в лагере. Он мне сильно помог. Одну ночь поговорили, а ума набрался на десять лет. Студент. Любил он всякие травинки, – Василий мечтательно посмотрел куда-то вдаль и грустно добавил, – я дикий мёд у него научился собирать...

– Это он! Точно он! Его ведь зовут Гюнтер? – вскрикнула Зина.

– Гюнтер?..

Василий не знал имени того немца.

КОРНЕВ
Борис Фёдорович

«Одна на всех...»
Повесть

Издательство «Историческая иллюстрация»
192019, Санкт-Петербург, ул Глазурная, 2-89
E-mail: info@ist-il.spb.ru
Тел./факс: (812) 412 0737